



КНИГА ПЕРВАЯ

1

«Безоблачный» — вот слово, которым так и хочется описать город Бруклин, влившийся в Нью-Йорк¹. Особенно если речь о лете 1912 года. Слово «хмурый», может, и лучше. Но оно совершенно не применимо к бруклинскому Уильямсбургу². И «прерии» красивое слово, и «Шенандоа» звучит прекрасно, но эти слова не пригодятся вам в Бруклине. «Безоблачный» — лучшего слова не подберешь, особенно если речь еще и о субботнем дне.

По вечерам солнце закатывалось в пустырь за домом Фрэнси Нолан и золотило старый деревянный забор. Глядя, как катится солнце, Фрэнси переживала то же возвышенное чувство, которое охватывало ее при чтении стихов, выученных в школе.

Темен девственный лес. Шумящие сосны и кедры,
Мохом обросшие, в темно-зеленых своих одеянях,
Словно друиды стоят, величаво и скорбно вещая,
Словно певцы в старину, с бородами седыми по пояс³.

Во дворе у Фрэнси тоже росло дерево, но не сосна и не кедр. Ветви, усеянные заостренными листочками, лучами расходились от ствола, как расположенные друг над другом раскрытые зеленые зонты. Некоторые называют его Деревом небес⁴. На какую бы почву

¹ Поселение Бруклин основано в 1646 году Голландской Вест-Индской компанией, в 1854 году получило статус города. И только в 1898 году вошел в состав Большого Нью-Йорка. — *Здесь и далее прим. перев.*

² Район на севере Бруклина. В Уильямсбурге селились выходцы из Германии, Австрии и Ирландии. Притоку жителей способствовало открытие в 1903 году Уильямсбургского моста. В Уильямсбурге появились еврейские, итальянские, польские и русские диаспоры.

³ Генри Лонгфелло. «Эванджелина». Пер. Г. Кружкова.

⁴ Айлант высочайший, или китайский ясень, его родина — Китай, где оно культивируется для разведения шелкопряда. Дерево неприхотливо, засухоустойчиво и быстро растет, достигая высоты 20—30 метров, за что получило прозвище «Дерево небес» или «Райское дерево».

ни упало семя, дерево всегда стремится к небу. Эти деревья растут и на разгороженных пятачках, и рядом с заброшенными свалками, и среди цемента, где другие деревья не выживают. А эти пышно разрастаются, но только если рядом есть многоквартирный дом.

В воскресный день вы отправляетесь на прогулку по Бруклину и оказываетесь в очаровательном уголке, очень ухоженном. Вдруг за железными воротами во дворе замечаете это молоденькое деревце и понимаете, что скоро тут возникнет район многоквартирных домов. Дерево это почуяло. Оно поселилось здесь первым. За ним появятся бедные эмигранты, и тихие старые дома из коричневого камня разгородят на квартиры, с подоконников свесят перьевые матрасы для проветривания, а Дерево небес станет давать новые побеги и ветвиться. Такой уж характер у этого дерева. Оно любит бедных людей.

Именно такое дерево и росло во дворе у Фрэнси. Оно шатром нависало над пожарной лестницей, которая вела на третий этаж, окружало ее и тянулось вверх. Одиннадцатилетняя девочка, сидя на пожарной лестнице, могла вообразить, что живет на дереве. Именно так и поступала Фрэнси каждое лето по субботам.

О, что может быть восхитительней субботы в Бруклине. Как упоительно все кругом! В субботу выдают зарплату, это уже выходной, но без ограничений воскресного дня. У людей заводятся денежки, они могут пройтись по магазинам. Заодно они наедались, напивались, назначали свидания, крутили романы и гуляли за полночь, пели, слушали музыку, дрались, танцевали, потому что завтра не надо на работу. Можно спать допоздна — главное, не проспять мессу.

По воскресеньям почти все собирались на одиннадцатичасовую мессу. Кое-кто приходил даже на шестичасовую, но таких было мало. К ним относились с уважением, которого они не заслуживали, потому что всю ночь веселились до рассвета. И вот по дороге домой они заходили на раннюю мессу, а прослушав ее, шли домой, чтобы отсыпаться весь день с чистой совестью.

Для Фрэнси суббота начиналась с похода к старьевщику. Они с братом Нили, как все бруклинские дети, собирали тряпье, макулатуру, железки, резинки и прочий хлам, который хранился в закрытых ведрах в подвале или в коробках под кроватью. Всю неделю Фрэнси возвращалась из школы медленным шагом, не сводя глаз

со сточной канавы, чтобы не проглядеть кусок оловянной фольги из-под пачки сигарет или обертку от жвачки. Потом все это плавил в крышке бидона. Старьевщик не принимал нерасплавленные комочки фольги, потому что дети часто подсовывали в них металлические гайки для веса. Иногда Нили везло, он находил бутылку из-под сельтерской. Фрэнси помогала ему снять свинцовую пломбу с крышки и расплавить ее. Старьевщик не принимал целые пломбы, чтобы не придрались те, кто производит содовую. Пломба от бутылки сельтерской — это богатство. За нее можно получить пять центов.

Фрэнси и Нили каждый вечер спускались в подвал, чтобы опустошить мусоросборник. Эта привилегия досталась им, потому что мама Фрэнси работала уборщицей. Добыча состояла из бумажек, тряпья и возвратных бутылок. Бумага не представляла особой ценности. За десять фунтов давали всего один пенни. Тряпье приносило два цента за фунт, а железо — четыре цента. Выгодней всего была медь — десять центов за фунт. Иногда Фрэнси попадался выброшенный чайник, его донышко — «золотое дно». Фрэнси вырезала его консервным ножом, сминала, отбивала, еще раз сминала и отбивала.

Каждую субботу вскоре после девяти часов утра ребята из всех боковых улиц заполняли Манхэттен-авеню, главную артерию города. Они медленно двигались в сторону Шоулз-стрит. Кто-то нес утиль в руках. Кто-то смастерил тележку из деревянного ящика из-под мыла, приделав к нему деревянные колеса. Кто-то толкал нагруженные хламом детские коляски.

Фрэнси и Нили складывали свою добычу в джутовый мешок, брались с двух сторон за края и волокли его по улице мимо Мауер-стрит, Тен-Эйк и Стэгг-стрит к Шоулз-стрит. Прекрасные названия убогих улиц. Из каждой боковой улицы появлялись орды маленьких оборвышей и вливались в общий поток. На подходе к лавке Карни они встречались с теми, кто шел обратно с пустыми руками. Эти уже сдали утиль и успели прокутить свои пенни. Теперь, на обратном пути, они глумились над остальными.

— Эй вы, мусорщики! Мусорщики!

Фрэнси вспыхивала, услышав это прозвище. От того, что насмешники и сами такие же мусорщики, не становилось легче. Не помогало и то, что ее брат скоро возьмет реванш, когда, возвра-

щаясь налегке со своей компанией, будет так же издеваться над встречными. Все равно Фрэнси было стыдно.

Карни устроил свою лавчонку в заброшенной конюшне. Завернув за угол, Фрэнси увидела, что обе створки ворот гостеприимно распахнуты, и представила, как покачивается большая, ленивая стрелка весов, словно в приветствии. Увидела она и самого Карни — у него ржавые волосы, ржавые усы и ржавые глаза, которые следят за стрелкой весов. Карни отдавал предпочтение девочкам. Мог расщедриться на лишний пенни, если девочка не поморщится, когда он ущипнет ее за щеку.

Учитывая возможность такой премии, Нили отошел в сторонку и предоставил Фрэнси самостоятельно втащить мешок в конюшню. Карни подскочил, вывалил содержимое мешка на пол и ущипнул Фрэнси за щеку — для проверки слегка. Пока он укладывал хлам на весы, Фрэнси моргала, чтобы глаза приспособились к полумраку, и вдыхала затхлый воздух с запахом сырого тряпья. Карни перевел взгляд на стрелку весов и объявил цену. Фрэнси знала, что торговаться запрещено. Она кивнула в знак согласия, и Карни сбросил хлам с весов и заставил ее ждать, пока раскидает макулатуру в один угол, тряпки в другой, металл отложит в сторону. Только после этого он полез в карман брюк и отсчитал старые позеленевшие монетки, которые сами выглядели как утиль. Она прошептала «спасибо», Карни посмотрел на Фрэнси ржавыми, как металлолом, глазами и ущипнул за щеку, на этот раз от души. Она стерпела. Он улыбнулся и добавил пенни. Затем его повадка изменилась, он стал грубым и резким.

— Заходи! — заорал он на мальчика, следующего в очереди. — Вываливай свое хозяйство!

Он выдержал паузу, рассчитывая на смех в ответ.

— Я не про утиль говорю!

Дети покорно засмеялись. Их смех напоминал бляенье заблудших овечек, но Карни, судя по всему, остался доволен.

Фрэнси вышла наружу и отчиталась перед братом.

— Он дал мне шестнадцать центов и один пенни за шипок.

— Это твой личный пенни, — сказал брат, соблюдая давний договор.

Она положила пенни в карман платья, а остальные деньги отдала ему. Брату десять, на год меньше, чем Фрэнси, но он мальчик,

поэтому деньгами распоряжается он. Нили сосредоточенно распределял вырученные гроши.

— Восемь центов в банк.

Таково правило. Половину любой суммы, откуда бы она ни взялась, они кладут в банк — в консервную банку, прибитую в дальнем углу шкафа.

— Четыре цента тебе, четыре цента мне.

Фрэнси завязала монеты, предназначенные для банка, в носовой платок. Посмотрела на свои личные пять центов, радуясь при мысли, что это же целый никель¹.

Нили смотал джутовый мешок, засунул его под мышку и двинулся в сторону «Дешевого Чарли», Фрэнси шла позади. «Дешевый Чарли» — мелочная лавка, которая находилась рядом с Карни и обслуживала торговцев утилем. К вечеру субботы касса под завязку заполнялась зеленоватыми пенни. По неписаному закону считалось, что это заведение для мальчиков. Поэтому Фрэнси не вошла, осталась стоять на пороге.

Мальчики, от восьми до четырнадцати лет, все в широких шароварах и кепках со сломанными козырьками, походили один на другого. Они топтались у прилавка, засунув руки в карманы, напряженно горбясь и выдвинув худые плечи. С годами они вырастут, но не изменятся, и в той же позе будут толпиться уже в других местах. Разве что появится зажатая между губами неременная сигарета, которая будет подрагивать вверх-вниз в такт словам, вот и вся разница.

Сейчас мальчики возбужденно переминались с ноги на ногу, поворачивая худые лица то к Чарли, то друг к другу, то снова к Чарли. Фрэнси обратила внимание, что некоторые уже перешли на летнюю стрижку: волосы обриты так коротко, что видны порезы от машинки там, где она вгрызалась слишком глубоко в кожу. Эти счастливики засунули кепки в карманы или сдвинули их на самый затылок. Те, у кого волосы все еще завивались локонами и по-детски закрывали шею, стеснялись своего вида и натягивали кепки поглубже на уши, отчего выглядели немного по-девчачьи, хоть и старательно ругались, чтобы придать себе мужественности.

¹ Монета в пять центов.

Дешевый Чарли вовсе не был дешевым, и звали его совсем не Чарли. Но он выбрал это имя, написал его на вывеске, и Фрэнси не подвергала его сомнению. У Чарли можно было за один пенни сыграть в лотерею. По ту сторону прилавка прибитая доска, на ней пятьдесят крючков с номерами, на каждом крючке приз. Среди призов было несколько просто прекрасных: роликовые коньки, боксерские перчатки, кукла с настоящими волосами и все такое. На остальных крючках висела разная чепуха — блокноты, карандаши и другие мелочи не дороже пенни. Фрэнси смотрела, как Нили заплатил за лотерейный билет и вынул грязную карточку из мятого конверта. Номер двадцать шесть! Фрэнси с надеждой посмотрела на доску. Перочистка ценой в пенни.

— Приз или конфету? — спросил Чарли.

— Конфету, ясное дело.

Вечно одно и то же. Фрэнси ни разу не слышала и не видела, чтобы кто-то выиграл нормальный приз. И правда, роликовые коньки заржавели, а волосы у куклы покрылись слоем пыли от долгого ожидания, как и сторожевая собака, и оловянный солдатик. Фрэнси решила — в тот день, когда у нее накопится пятьдесят центов, она купит все пятьдесят билетов и выиграет все-все призы, какие есть на доске. Она прикинула, что это выгодная затея: и ролики, и перчатки, и кукла, и все прочее обойдется ей в пятьдесят центов. Еще бы — одни только ролики стоят в четыре раза дороже. Нили будет сопровождать ее в этот великий день, потому что девочки редко заходят к Чарли. Правда, в эту субботу было несколько девочек — наглых, дерзких, с фигурами, как у взрослых женщин. Эти девочки говорили слишком громко и заигрывали с мальчиками — соседи предрекали этим девочкам, что они как пить дать собьются с дорожки.

Фрэнси направилась через улицу в мелочную лавку Джимпи. Джимпи хромал, был он добрый, с детьми обращался ласково... так все считали до тех пор, пока однажды в солнечный день он не заманил одну девочку в свою зловещую кладовку.

Фрэнси размышляла, вправе ли она пожертвовать одним пенни ради фирменного конька Джимпи — мешочка с сюрпризом. Моды Донаван, с которой Фрэнси водила дружбу, уже собиралась сделать покупку. Фрэнси протиснулась вперед, встала у Моды за спиной и сделала вид, что тоже собирается потратить свой пенни. Она,

затаив дыхание, наблюдала за Модой, которая после долгих раздумий указала на самый пузатый мешок в витрине. Фрэнси выбрала бы мешочек поменьше. Она смотрела через плечо подруги, как та вынула несколько засохших конфет и свой сюрприз — дешевый носовой платок из батиста. Самой Фрэнси однажды попался флакончик духов, которые пахли чересчур сильно. Она снова вернулась к размышлениям о том, стоит ли тратить пенни, и рассудила, что уже получила удовольствие от предвкушения сюрприза, глядя на Моду, а это почти то же самое, что купить мешочек самой.

Фрэнси шла по Манхэттен-авеню и читала вслух красивые названия улиц, которые пересекали авеню: Шоулс, Мезероль, Монтроз и затем Джонсон-авеню. На последних двух улицах селились итальянцы. На Зейгел-стрит начинался район, который назывался Еврейским, он включал в себя Мур и Маккиббен и тянулся вдоль Бродвея. Фрэнси направлялась к Бродвею.

А что такого особенного на Бродвее в бруклинском Уильямсбурге? Ничего — если не считать самого прекрасного в мире магазина товаров по пять и десять центов. Огромный, сияющий, в нем продавалось все на свете... или так казалось одиннадцатилетней девочке. У Фрэнси пять центов — целый никель. Фрэнси всемогуща. Она может купить почти любую вещь в этом магазине! Единственное место в мире, где такое возможно.

Войдя в универмаг, она ходила вверх и вниз по этажам, трогала все, что понравится. Какое это восхитительное чувство — когда выбираешь вещь, держишь минуту, ощущаешь ее изгибы, гладишь и бережно кладешь на место. Никель в кармане давал ей на это право. Если администратор спросит, намерена ли она что-нибудь купить, она скажет «да» и укажет на пару вещиц. Деньги — удивительная штука, решила Фрэнси. Насладившись оргией прикосновений, она купила то, что собиралась с самого начала, — белозеленые мятные вафли за пять центов.

Домой Фрэнси возвращалась по Грэм-авеню, одной из улиц еврейского гетто. Ее развлекали наполненные всякой всячиной тележки — каждая как маленький магазин, оживленные евреи, которые торговали с них, необычные запахи, которые окружали ее, тушеная фаршированная рыба, кислый ржаной хлеб — только из печи, и еще что-то — пахло оно горячим медом. Она смотрела на бородатых мужчин в шапочках из альпаки, черных пальто и думала:

почему у них такие маленькие и пронизывающие глазки? Она заглядывала в крошечные магазинчики, похожие на пещерки в стене, и вдыхала запах плательных тканей, разложенных на прилавках. Она примечала, что из окон свешиваются перины, на пожарных лестницах сушится одежда ярких восточных цветов, а в канавах играют полураздетые ребятишки. На тротуаре сидела неподвижно на деревянном стуле женщина с большим животом, внутри у нее был ребенок. Она сидела на солнышке, смотрела на то, что происходит на улице, и вслушивалась в то, что происходит внутри ее, в собственную таинственную жизнь.

Фрэнси вспомнила, как удивилась, когда мама сказала ей, что Иисус был еврей. Фрэнси думала, что он католик. Но маме лучше знать. Мама сказала, что евреи всегда считали Иисуса просто непутевым парнем, который не хочет работать плотником, заводить семью, растить детей и жить, как всем людям положено. И что евреи до сих пор ждут прихода своего мессии, так мама сказала. Размышляя обо всем этом, Фрэнси смотрела на беременную еврейскую женщину.

«Вот почему у евреев так много детей, — думала Фрэнси. — И почему их женщины сидят так важно... когда ждут ребенка. И почему они не стесняются того, что растолстели. Каждая думает, что родит настоящего Иисуса. Вот почему у еврейских женщин такой гордый вид, когда они готовятся рожать. А у ирландских женщин такой вид, будто им стыдно. Они же знают, что никогда не родят Иисуса. Только еще одного Майка. Когда вырасту и буду ждать ребенка, постараюсь ходить важно, с гордым видом. Ну и что с того, что я не еврейка».

Когда Фрэнси вернулась домой, было уже двенадцать. Вскоре вернулась и мама, задвинула швабру и ведро в угол с грохотом, который означал, что до понедельника она к ним не притронется.

Маме двадцать девять лет. У нее черные волосы, карие глаза и ловкие руки. Фигура — тоже лучше не бывает. Мама работает уборщицей, поддерживает идеальную чистоту в трех многоквартирных домах. Кто бы поверил, что мама драит полы, чтобы прокормить семью из четырех человек? Такая хорошенькая, стройная, энергичная, искрится жизнью. И хоть руки у нее покраснели и потрескались из-за воды с добавкой соды, ногти на тонких пальцах

аккуратные, изящные, овальные. Все говорили: «Ах, какая жалость, что такой прелестной, милой женщине, как Кэти Нолан, приходится мыть полы». А потом прибавляли: «Чего ж еще ей остается делать, с таким-то мужем». Все признавали, что, как ни крути, Джонни Нолан — славный малый и красавчик хоть куда, другим мужчинам до него далеко. Но ведь он *пьяница*. Так говорили все, и это была сущая правда.

Фрэнси позвала маму, чтобы та посмотрела, как она кладет восемь центов в жестяную банку. Они провели блаженные пять минут, гадая, сколько денег в банке. Фрэнси полагала, что долларов сто или около того. Мама сказала, что восемь долларов — это больше похоже на правду.

Мама велела Фрэнси сходить купить продуктов к обеду.

— Возьми из треснутой чашки восемь центов и купи четверть буханки еврейского ржаного, да смотри, чтобы свежий был. Еще возьми никель, зайди к Саурвейну и попроси остаток языка на пять центов.

— Но он же не согласится.

— Скажи, что мама велела, — строго заявила Кэти. Она немного подумала. — Может, вместо того, чтобы покупать пончики с глазурью, лучше положить пять центов в банк.

— Но мама, сегодня же *суббота*. Ты всю неделю говорила, что в субботу мы позволим себе сладкое.

— Ну ладно. Купи пончиков.

В еврейской лавочке с разными вкусами было полно христиан, которые покупали еврейский ржаной хлеб. Фрэнси смотрела, как хозяин кладет четверть буханки в бумажный пакет. Изумительно хрустящая и в то же время нежная корочка, присыпанное мукой доньшко — бесспорно, это самый вкусный хлеб в мире, когда свежий, думала Фрэнси. В магазин Саурвейна она вошла с опаской. Иногда хозяин был сговорчив насчет языка, иногда нет. Порезанный ломтиками язык по семьдесят пять центов за фунт предназначался для богачей. Но после того, как среднюю часть распродадут, крайний обрезок можно получить за никель, если иметь блат у мистера Саурвейна. Конечно, мяса в этом остатке было немного. В основном мягкие косточки и хрящи, а от мяса только воспоминание.